

Леонид
ЗОРИН

ДЕРЗКИЙ И МЯТЕЖНЫЙ

деть в золотых академических садах—среди классиков, внушающих почти молитвенное благоговение, он остается «беззаконною кометой в кругу расчиленном светил».

В который раз читаешь:
Люблю отчизну я, но странною
любовью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью,
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные
преданья
Не шевелят во мне отродного
мечтанья.

нархов, ни казенная гордыня российской государственности, ни «гром победы раздавайся» не шевелят в его душе «отродного мечтанья».

А любил он на своей земле совсем иное:

Ее степей холодное молчанье,
Ее лесов безбрежных колыханье,
Разливы рек ее подобные морям...

Но ведь, в самом деле, его трудная эпоха не дала ему выбора. Не празднества же сановного Петербурга, не ледяное величие империи, не парады муштрованных войск могли родить в нем ощущение отчизны, и он черпал его в картинах родной природы, в образах народной жизни, с которой его судьба была неразделима.

Вы помните эту пронзительную, ударяющую в сердце строку:

— Дрожащие огни печальных
деревень...

Эти слова можно повторять без конца. Кажется, никто не выразил с такой щемящей полнотой свое приятие родины, тревожной, неблагоприятной, открытой сквозным ветрам.

После этих слов покой уже невозможен.

Я ловлю себя на том, что не могу представить его состарившимся. Даже в наиболее глубоких своих вещах, даже в «Герое нашего времени»,— передо мной юноша, мятежный и непокорный.

Годы шлифуют характер. Они придают ему большую округлость, большую мягкость, они сообщают человеку уступчивость и добродушие. Мир, который скоро предстоит покинуть, предстает пленительным и желанным, видишь все, что в нем прекрасно и неповторимо, и это признание мира, приятие жизни становятся неотъемлемыми чертами достигших вершин небожителей.

Вот величественный в своей олимпийской завершенности Гете, вот Диккенс с его доброй улыбкой, вот призывает к любви и к братству Толстой. Даже Пушкина я могу нарисовать себе старцем, мудрым и сосредоточенным, укrotившим страсти, озаренным той светлой печалью, которая посетила его однажды на холмах Грузии.

И лишь Лермонтова я бессилён уви-

Да и какие годы могли обтесать эту нетерпимость, какой возраст мог успокоить эту непримиримую душу? Убеждения этого человека никогда не исходили из умствований, в их основе всегда kloкотала кровь, только он и мог сказать, что «страсти не что иное, как идеи при первом своем развитии».

Не удивительно, что эта вулканическая мысль не искала выхода там, где его не могло быть. Державин еще пытался «истину царям с улыбкой говорить», Лермонтов не знал иллюзий.

Юноша, почти мальчик, он обнаружил высшую отвагу додумать все до конца, отрешиться от привычных представлений, от мишуры слов, от, казалось бы, незыблемых законов света.

Иной раз закроешь глаза и увидишь его живым, почти осязаемым,— молодой, он стоит в толпе, пряча от нее природную застенчивость.

Стоит, не ведая о том, что и через век будет учить мужеству и человеческому достоинству.

Сов. Россия, 1964, 15 окт 3 бр